

ИСААКЯН И ЦВЕТАЕВА: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ОПЫТ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ

Г. И. КУБАТЬЯН

Связи Аветика Исаакяна с русскими писателями — и личные и творческие — давно уже привлекают исследователей. При этом изучаются по преимуществу творческие связи: круг чтения, прямые и косвенные влияния, переводы из Исаакяна на русский язык и переводы Исаакяна с русского. Не обойдены стороной и житейские контакты: знакомство с тем или иным русским литератором, переписка, взаимные оценки¹.

Есть, однако, еще один способ взглянуть на многообразные эти связи, который не привлекал пока что заметного интереса, — сопоставительный анализ. Конечно, редкий исследователь, пишущий, скажем, о Блоке — переводчике Исаакяна, не выйдет за пределы двадцати заданных темой стихотворений и не попытается сравнить две творческие системы, исаакяновскую и блоковскую. И все же такого рода попытки носят, естественно, прикладной, избирательный характер, характер краткого экскурса.

Между тем сопоставить двух крупных поэтов-современников, писавших на разных языках и стоявших на разных позициях, не просто возможно, не просто любопытно — это поучительно. Некоторый исследовательский произвол, здесь, вероятно, неизбежный, искупается новизной красок и оттенков, освежающей привычные взгляды. Таков итог даже подчеркнуто типологических сопоставлений.

Аветик Исаакян и Марина Цветаева — сблизить два эти имени, тем более сравнивать их нет, казалось бы, ни малейшего резона. Осипа Мандельштама в юности озарило: «Не сравнивай: живущий несравним»; право же, Мандельштам предостерегал сравнивать не только людей вообще, но и поэтов в частности, поэтов-то, пожалуй, в особенности. Но соположить творчество абсолютно во всем различных Исаакяна и Цветаевой, свести их на журнальной странице стоит хотя бы потому, что их, и по-человечески далеких не менее, чем творчески, однажды уже свела вместе жизнь. И, сведенные вместе, они, вопреки самым закономерным закономерностям, испытали не отчужденность, а душевное родство. Речь, разумеется, о парижской встрече армянского и русского поэтов, случившейся в 1932 году и незабываемо описанной Ариадной Эфрон.

Недаром говорят: лиха беда начало. Едва задумавшись над возможностью типологически сопоставить наследие Исаакяна и Цветаевой, обнаруживаешь точки, где человеческие и поэтические судьбы этих безусловно далеких — подчас чудится, полярно разведенных, — непохожих и несравнимых авторов весьма ощутимо соприкасаются.

¹ См.: Л. Миртчан. Аветик Исаакян и русская литература. Ереван, 1963; Слово об Аветике Исаакяне. Ереван, 1975; Исаакян о России и русской культуре, Ереван, 1979, Ավիկ Իսահակյան, Ավետիք Իսահակյանը և ռուս գրականությունը, Երևան, 1984:

В первой такой точке мы увидим сугубо внешнее обстоятельство, скорее наводящее на мысль о несходстве, нежели о сходстве. Вот оно: оба поэта—классики своих литератур. В чем же здесь несходство? В том, как увенчали их творчество незримые лавры. Если Исаакян не просто при жизни, но очень рано, едва ли не сорока лет от роду, уже рассматривался и читателями и коллегами всех направлений как живой классик и добрых четыре десятилетия оставался таковым, то наследие Цветаевой долго, медленно, тяжело пробивалось к всеобщему признанию. Лишь 100-летний юбилей, отмеченный в нынешнем году, окончательно и бесповоротно утвердил ее в качестве несомненного классика русской поэзии XX века.

Следующее пересечение двух судеб—эмиграция, скитальчество на чужбине и возвращение на родину. Это общее сходство также содержит в себе множество несходств, но в отличие от первого, сугубо, повторим, внешнего, оно наложило глубокий отпечаток и на строй чувств, и на образ мыслей, и, стало быть, на самый склад стихов. При всем том скитальческий жребий Цветаевой много горше исаакяновского. Ее эмиграция была вызвана семейными (в большей степени) и политическими (в меньшей) причинами и ни разу не прерывалась. Вернулась она на родину опять-таки не потому, что захотела вернуться, а следуя за мужем и дочерью и по настоянию сына. Очень далекая от политики, Цветаева тем не менее представляла себе к тому времени (1939), в какую именно страну возвращается: об этом свидетельствует жесткий отбор, которому она подвергла свои стихи, «чтобы решить, что можно взять с собой в Россию, а что нельзя»². Будь ее воля, Цветаева бы вернее всего не совершила рокового шага, хотя всегда мучилась ностальгией.

Скитальчество Исаакяна, при всей его горечи, не было столь безнадежно необратимым. Он много раз оказывался за границей, жил в Европе годами, время от времени без особых проблем наезжая в родные края. Пускай он относился к новым порядкам в Армении и России не так просто и однозначно, как это принято было изображать,— он совершил в 1936 году свой выбор добровольно, а не под воздействием приводящих обстоятельств: родина оказалась для него важнее политической системы. Не последнюю роль в его решении сыграло то, о чем сказано выше и о чем сам поэт, возможно, меньше всего думал, — он был живой классик, его возвращения ждали, на него рассчитывали, оно, это возвращение, стало для советских властей политическим актом, подобным возвращению из-за границы Горького. Исаакян не был изгоем в кругах армянской диаспоры, не стал им и дома; Цветаева прожила белой вороной семнадцать эмигрантских лет и не пришлось ко двору на родине.

При всем различии поэтических методов Исаакяна и Цветаевой ностальгические мотивы у обоих выражены по большей части опосредованно. Строго говоря, у Исаакяна, как это ни парадоксально, почти нет ностальгических стихов. Он не тоскует по родине издали—он ее словно бы и не покидал. В Вене, Лейпциге, Праге, Базеле, Измире, Париже, Венеции, в 1894, 1912, 1923 или 1930 годах, словом, везде и всюду он пишет только о родине, только на армянские темы. Колеса по Европе, он будто бы и не замечает ее — в его творчестве, по крайней мере в лирике, ей попросту нет места. Европейская тематика заметна в исаакяновских рассказах, в исторических балладах — в его лирике годы, проведенные на чужбине, отразились только опосредованно, только в тоске скитальца-пандухта, в его любовных песнях. Вот редчайшая у Исаакяна ностальгическая нота, высказанная от первого лица, хотя грань между «я» и «не я» в этих строках сразу и не проведешь; стихотворение написано в 1919 году в Женеве:

² И. Кудрова. Последние годы чужбины. — «Новый мир», 1989, № 3, с. 220.

Գրկիր ինձ մեղմիկ
Քո կախարհը գրկու՛մ
Եւ գգու՛մ եւ ինձ
Իմ հարեցիքու՛:

(Обними меня нежно — В колдовских твоих объятиях Я чувствую себя На родине).

У Цветаевой дом, родина в 20—30-е годы — то, от чего она отлучена и по чему тоскует. Это ясно, явственно, однако ясность складывается не из слов, а как бы помимо них. Вот поэт просит в письме-стихотворении:

Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится.
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...

Здесь ни единого звука о тоске по родине, и в то же время все — о ней. Даже в стихах о рельсах:

Это уезжают-покидают,
Это остывают-отстают.
Это — остаются. Боль, как нота
Высшаяся... —

даже в этих стихах боль, свойственная любой разлуке (речь-то о вокзале), кажется не болью временной утраты близкого человека, но постоянной—родной земли. Такова сила контекста—не пред- и после идущих строф, но всего творчества. То же и в стихотворении «Дом»—печаль по ушедшему детству воспринимается всего лишь как знак печали по ушедшей, оставленной родине.

Назвать ностальгию ностальгией, а родину родиной, дать боли имя — это Цветаева делала крайне редко:

Даль, прирожденная как боль,
Настолько родина и столь
Рок, что повсюду, через всю
Даль — всю ее с собой несу.

Еще реже она противопоставляла Россию Западу; по-настоящему это случилось, кажется один-единственный раз в стихотворении «Лучина»:

До Эйфелевой — рукою
Подать! Подавай и лезь.
Но каждый из нас — такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что скушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горит?»

Слово **такое** здесь решительно выделено интонацией, и это сближает «Лучину» с заграничными стихами Маяковского: мы, мол, видали дома такое, что нас вашими эйфелевыми башнями и бруклинскими мостами не удивишь. Однако цветаевское стихотворение лишено идеологической подоплеки, его одушевляют пронзительный финал и поразительная метафора: покрытая вечерними огнями башня в центре Парижа напоминает своими очертаниями допотопную русскую лучину.

Самое знаменитое и, вероятно, лучшее ностальгическое стихотворение Цветаевой — «Тоска по родине», где означенное в заголовке чувство вроде бы упорно отрицается, чтобы в самом конце автор, так мно-

го и убедительно обосновывавший его, этого чувства, вздорность, бес- сильно опустил руки: «Но если по дороге — куст Встает, особенно — рябина...»

В этой неназванности чувства, общей у Исаакяна и Цветаевой, таится целомудренная любовь, которую излишне и святотатственно по- минать все.

Ностальгическую любовь к родине оттеняет любовь и признатель- ность к чужой земле. Так у Цветаевой. У Исаакяна же безраздельную, абсолютно самоценную эту любовь не оттеняет, а резко — по кон- трасту — подчеркивает полное отсутствие не то что любви к чужби- не, но в сущности и упоминаний о ней. Мы уже говорили, что много- летнее пребывание за границей никак не отразилось в исаакяновской лирике, а ведь лирика неизменно почиталась дневником души, фикси- рующим по крайней мере основные события духовной жизни. На этом феномене стоит остановиться чуть подробнее, поскольку ему вообще трудно приискать параллель в армянской и русской поэзии. Кажется, лишь дважды за долгие-долгие годы творчества Исаакян произнес иноязычные имена собственные (тюркские названия типа Алагяз и Бингел, разумеется, не в счет):

Մի սրտինն աղջիկ տեսա
Ռիսլտոյի կամուրջին:

(Чернобровую девушку увидел (я) На мосту Риальто). Это первый случай. Второй более чем характерен. Стихотворение называется «В Равенне», но ни Равенна, ни Италия в нем не возникают даже отдален- ным отзвуком или намеком — оно об Арарате, о вечности, о брэнно- сти бытия.

Лирика Исаакяна круто расходится здесь с лирикой Цветаевой; дело даже не в ее стихах о Чехии и Франции, а именно в любви к ним. Шутка ли, возвращаясь на родину, Цветаева не столько пред- вкушает долгожданную и почти уж нечаянную встречу, сколько опла- кивает землю, с которой расстается:

Мне Францией — пету
Щедрее страны. —
На долгую память
Два перла даны.
Они на ресницах
Недвижно стоят...

Коль скоро речь зашла о пространстве и времени, заметим, что ли- рике Исаакяна чужды конкретные исторические, хронологические при- меты. Время действия за редчайшими исключениями не только не ука- зано, но и не угадывается — вечные темы на фоне вечности. Каким бы конкретным ни был повод, породивший стихотворение, он не прояв- ляется. Фольклорная стихия, вне которой нет исаакяновской лирики, сказывается здесь как нельзя более зримо.

Цветаева в этом смысле — полная противоположность Исаакяну. По ее стихам легко определить не только время, но зачастую и место действия.

Поэт широко образованный и начитанный, Исаакян предстает в своих лирических песнях безымянным крестьянином, отрешенным от книжной культуры гусаном; Цветаева, какую бы роль она в этот мо- мент ни разыгрывала, — всегда поэт, а не сказительница или песель- ница.

Мы подошли к еще одной точке, в которой поэзия Исаакяна со- прикасается с поэзией Цветаевой. Оба они любят говорить не от соб- ственного лица, а от лица некоего персонажа. У Исаакяна это тра- диционные персонажи народной песни: девушка-крестьянка, жена крестьянина и его мать, жена странника и его мать и, разумеется, сам странник, а также и пахарь, и гайдук. В этих стихах присутст-

вуют все атрибуты роли, однако что-то мешает увидеть в поэте актера, примеряющего на себя очередную маску. Персонажи исаакяновской лирики слишком, повторимся, традиционны, слишком знакомы поэту, чтобы увидеть в его стихах спектакль с переодеваниями. И говорит он от лица девушки или женщины не только затем, чтобы достовернее и полнее выразить некую частицу своего существа, а главным образом затем, чтобы создать полноценный женский образ, отнюдь не тождественный его собственному лирическому «я».

Иначе обстоит дело у Цветаевой. Во-первых, ее персонажи куда многочисленней исаакяновских. Это и цыганка, и «искательница приключений» из подчеркнуто гривуазного цикла «Плащ», и «кабацкая царица», и Ярославна, и Жанна д'Арк, и русская пленница («Ханский полон»), и Сивилла, и крестьянка, плачущая по сыну-новобранцу, и еще, еще... Во-вторых, в обилии цветаевских героинь как раз и сказывается то, чего у Исаакяна днем с огнем не найдешь,— театральная, маскарадная атмосфера. Молодая Цветаева в охотку меняла роли, одежды, маски с единственной по сути целью—выразить себя; во мне есть и то, и это, и много чего другого, как бы говорит она. Смена ролей, костюмов, декораций не скрывается, а нарочито выставляется напоказ. «Я примеряю новый наряд, идет он мне?»—не без лукавства вопрошает нас поэтесса. Даже изображая легкомысленную француженку, жившую лет этак за двести до нее, Цветаева напоминает о себе недвусмысленным инициалом:

Долг и честь, Кавалер,—условность
Дай вам Бог — целый полк любовниц!
Изъявляя при сем готовность,
Страстно любящая вас — М.

Тяга к театральности рано или поздно должна была привести Цветаеву к театру. Во второй половине 10-х годов неизбежная встреча состоялась. Знакомство поэтессы с вахтанговцами, дружба с ними дали дополнительный и мощный толчок краткому, но пылкому увлечению. «Под знаком Театра у Цветаевой, можно сказать, прошел весь восемнадцатый год, а с конца его... начался настоящий роман с Театром. Теперь в ее тетрадах стихи чередуются с пьесами»³.

«Костюмные» стихи Цветаевой— это ее дань ярким, приподнятым над повседневностью, романтическим чувствам. Подхватив Цветаеву, романтическая волна влекла ее за собой несколько лет. Нечто подобное произошло и с Исаакяном. Да, в его романтике мало что перекликается с цветаевской. Но любовь к ярким, неразбавленным, контрастным краскам—верная примета романтизма—не обошла стороной и его. Поэма «Абу Лала Маари», казалось бы, безнадежно далека от романтических вещей русской поэтессы. Но разве героя поэмы—угрюмо и разочарованно вззирающего на мир философа—так уж трудно поставить рядом с героем, скажем, пьесы «Приключение» Казановой. не менее разочарованным и подчас не менее угрюмым? Конечно, сколько ни ставь их бок о бок, вполне условное сходство никогда не перевесит безусловного отличия. Но ведь, сопоставляя двух героев, никто не стремится объединить их или отождествить.

Отвлечись от лирики и перейдя к эпическим жанрам, не упустим из виду, что умение совладать с крупной формой также роднит двух поэтов: Исаакян и Цветаева не раз обращались к эпике. Эпические вещи обоих—«Мгер из Сасуна», «Манук Масисский», «Царь-Девница», «Егорушка», отчасти «Крысолов»—порождены народной словесностью и пронизаны ее токами; отпочковавшись от фольклора и подчиняясь не его, а литературы законам, эти поэмы тем не менее ни

³ А. Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910—1922). М., 1986, с. 160.

на минуту не выпускают читателя из сказочного, былинного, эпического мира.

В неразрывной, поистине кровной связи обоих с этим миром—самое, может быть, отчетливое сходство между ними. У Цветаевой больше, у Исаакяна меньше произведений, никак и ничем не напоминающих о народно-поэтическом творчестве, и однако, мысленно набрасывая для себя их штриховые портреты—только очертания, только абрис,— мы едва ли не в первую очередь проведем линию, связующую обоих с народным словом.

И один и другая чутко и безошибочно улавливали народную мелодию и столь же безошибочно воспроизводили ее. В том, как они это делали, опять же больше различий, нежели сходства. Фольклорная нота в стихах Цветаевой извлекается и доносится до читателя (а не слушателя!) искусно, блестяще, виртуозно—здесь пригоден любой из длинного ряда синонимов, которыми обозначают мастерство профессионального писателя. Ни один из этих синонимов не даст нам представления о работе Исаакяна. Лучшие его строфы почти не отличимы от фольклорных образцов; может статься, они законченней, совершенней.

Совершенство—вот слово, способное передать характер вершинных исаакяновских вещей, причем употребить его нужно в том смысле, в каком оно употреблено в армянских заметках Василия Гроссмана: «Лишь некоторые создания человека совершенны, и их не так уж много—эти истинно совершенные создания не отмечены ни грандиозностью, ни пышностью, ни чрезмерным изяществом. Иногда совершенство проявляется в стихах великого поэта, не во всех стихах его, хотя все стихи его отмечены гением; но лишь о двух, трех можно сказать: эти стихи поистине совершенны... Совершенство всегда просто, всегда естественно... Совершенство всегда отмечено демократичностью, всегда общедоступно»⁴.

Конечно, в этом смысле пронизанные фольклорным духом цветаевские стихи не отнесешь к совершенным. Но кого из тех, кто любит сказки, не увлечет безупречной своей сказочностью, сказовостью интонация «Царь-Девыцы» и кого из тех, кто любит поэзию, эта же интонация не захватит безупречной своей поэтичностью?

Песнь прежалостную тут мы споем:
Как прощалась Царь-Девыца с конем.
Как дружочка за загрявок брала,
Сахарочку в рот брусочек клала,
Целовала как, огня горячей,
Промеж грозных, промеж кротких очей,
Прижималась как — щекой золотой
К конской шее лебединой, крутой...

Даже поверхностный взгляд на поэтическое творчество двух классиков—Аветика Исаакяна и Марины Цветаевой—легко обнаружил несколько пунктов, в которых их поэзия пересекается или по меньшей мере сближается. При этом сравнительному анализу сознательно не подвергнуты лирические темы: здесь на произвол исследователя отдается слишком многое. Как сказал Александр Кушнер: «Я все могу сравнить со всем». Нужды в этом, надо полагать, нет. А вот подходы разных поэтов к схожим обстоятельствам, как биографическим, так и творческим, способен высветить и—есть надежда—высветил не-

⁴ В. Гроссман. Добро вам! — «Знамя», 1989, № 11, с. 44—45.

которые параллели. Главное здесь—не перегнуть палку, искусственно не сближать заведомо несближаемое.

В остальном же... Сопоставляя различные до несопоставимости явления разных литератур, мы обращаем внимание на детали, которые остаются в тени, если сравнивать лишь то, что кажется естественным: Исаакяна с Туманяном, а Цветаеву, разумеется, с Ахматовой. Так или иначе юбилей Марины Цветаевой—достаточный повод, чтобы в Армении взглянули на ее поэзию сквозь призму поэзии А. Исаакяна, и наоборот.

Գ. Ի. ԿՈՒՐԱՏՅԱՆ— Իսահակյանը և Յվետական. հատման կետեր.—
Համադրելով XX դարի ուսուցիչական և հայ երկու մեծանուն բանաստեղծների կենսագրությունն ու ստեղծագործությունը՝ հեղինակը հայտնաբերում է ընդհանրություններ նրանց միջև:

Ստեղծագործական և կենսագրական նյութը հնարավորություն է տալիս գտնել Յվետականի և Իսահակյանի քերթվածներում ինչպես նմանողություններ, այնպես էլ սկզբունքային տարբերություններ: Երկու տարբեր բանաստեղծների ստեղծագործության համեմատական վերլուծությունը ընդլայնում և խորացնում է մեր պատկերացումը նրանցից յուրաքանչյուրի բանաստեղծական աշխարհի ինքնատիպության մասին: